

ИСТИНА И АФФЕКТ*

Микиртурмов Иван Борисович – доктор философских наук, заведующий лабораторией критической теории культуры факультета «Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств». Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург). Российская Федерация, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16; e-mail: imikirtumov@hse.ru



Идею экзистенциального поворота в философии науки, представленную Ильей Касавиным и Владимиром Порусом в их недавней статье, я сопоставляю с проблематикой кризиса рациональности и культуры и с оппозицией профессии и призвания из речи Макса Вебера о политике. Я предлагаю анализ структуры призвания политика и ученого как аффектов особого рода. Для этого я привлекаю анализ Жаком Лаканом истерии. Мои выводы состоят в том, что аффект призвания по своей структуре воспроизводит истерию. Это значит, что ученый стремится показать, что истина существует, стремится принудить других людей признать этот факт и подчиниться науке как единственной адекватной форме мировоззрения. Пока сделать этого не удастся, ученый придает своим отношениям с сообществом характер служения высшей инстанции. При этом он жаждет инверсии этого служения, т.е. перехода к власти через признание. Отсюда следует, что научные исследования никогда не будут ограничены изнутри науки, сколь бы опасными они ни были. Экзистенциальный выбор в науке – это выбор между преследованием истины в естественных и точных науках и поддержанием устойчивости культуры в социально-гуманитарном знании. Последнее, в разрез с Вебером, всегда переплетено с политикой. Первое, напротив, не политично, но аффективно. Это позволяет по-новому увидеть определение признания к науке, которое дает Касавин. В центре «когнитивно-экзистенциальной настроенности» на поиск истины доминирует аффект, двигателем которого является истерия, а в его базовых установках истина и ученый радикально противопоставлены правдоподобию и профану.

Ключевые слова: наука, истина, истерия, Макс Вебер, Илья Касавин

TRUTH AND AFFECT

Ivan B. Mikirtumov – DS in Philosophy, Chief of the Laboratory of Critical Theory of Culture, St. Petersburg School of Humanities and Arts. HSE University–St. Petersburg. 16 Soyuza Pechatnikov St., Saint Petersburg 190121, Russian Federation; e-mail: imikirtumov@hse.ru

I connect the idea of an existential turn in philosophical science, presented by Ilya Kasavin and Vladimir Porus in their recent article, with the problem of rationality and culture crisis, as well as the opposition of profession and vocation in Max Weber's famous speech on politics. I offer an analysis of the structure of vocation to politics and to science as affects of a special kind. To do this, I draw on Jacques Lacan's analysis of hysteria. My conclusions are that the structure of a target affect coincides to that of hysteria. This means that scientist tries to show that the truth exists, seeks to force other people to recognize this fact and submit to science as an only acceptable form of worldview. Until this can be done, the scientist gives his relationship to the community the character of service to the highest entity. At the same time, he waits for

* В статье использованы результаты исследований по проекту «Природа в оптике цифровой культуры: парадоксы, гибриды, фантазмы», выполненному в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2024 г.



the inversion of this service, i.e. a transition to power through acknowledgement. It should be noted that scientific research is never limited by the science itself, no matter how dangerous it may be. The existential choice in science is a choice between the pursuit of truth in natural sciences and exact sciences and maintaining the sustainability of culture in social and humanitarian knowledge. The latter, contrary to Weber, is always intertwined with politics. The first is not political, but affective. This allows me to see the definition of the vocation to the science that Kasavin gives in a new way. At the center of the "cognitive-existential mood" in the search for truth, affect dominates, the engine of which is hysteria, and in its basic attitudes truth and the scientist are opposed to the plausible and the profane.

Keywords: science, truth, hysteria, Max Weber, Ilya Kasavin

В статье «Философия науки: экзистенциальный поворот» Илья Касавин и Владимир Порус [Касавин, Порус, 2023] затрагивают одну из центральных тем двадцатилетия, последовавшего после завершения Первой мировой войны, а именно тему кризиса европейского человечества. В связи с наукой тема кризиса сегодня актуализируется тремя тревогами: первая связана с деградацией природной среды, вторая – с влиянием цифровизации на социум, третья – с увеличением доступности мощного оружия. За названными тревогами тенденций и опасений столько же, сколько фактов, но этого достаточно, чтобы заново поставить вопрос о цене и движителях прогресса, о сущности науки и призвании ученого. Размышления Касавина и Поруса движутся отчасти в русле размышлений Макса Вебера в его докладе «Наука как призвание и профессия» (1918)¹ [Вебер, 1990]. Я пойду этим же маршрутом и попытаюсь показать аффективную специфику призвания ученого, которая, на мой взгляд, находится в ядре экзистенциального выбора науки как жизненного пути.

Вебер: апология науки в эпоху кризиса

Доклады Макса Вебера «Наука как призвание и профессия» (1918) и «Политика как призвание и профессия» (1919) [Вебер, 2020] стоят в одном ряду с «Размышлениями аполитичного» Томаса Манна (1919), «Закатом Европы» Освальда Шпенглера (1918, 1922), докладом Эдмунда Гуссерля «Кризис европейского человечества и философия» (1935) и многими другими философскими и литературными, а также газетными и журнальными текстами, театральными постановками,

¹ Напомню, что формулировка «призвание и профессия» – это находка переводчика докладов Вебера “Wissenschaft als Beruf” и “Politik als Beruf” на русский А.Ф. Филиппова.



кинофильмами, образными рядами индустрии моды, архитектуры и дизайна, не только провозглашавшими кризис, но создававшими совершенную эстетику его переживания в меланхолическом аффекте «конца всего». Кризис, конечно, имел место, причем в настоящем смысле этого слова, т.е. не как гибель и катастрофа, а как смена направления и модификация форм жизни. Сдвиг значения слова «кризис» от изменений к катастрофе происходит там, где опасаются утраты влияния или уже его утратили. Это характерно как для умонастроений элит старых режимов, так и для интеллектуалов межвоенного периода, статус которых оказался поставленным под вопрос вместе со всем социальным порядком. Но неужели наука может разделять со старым режимом его старость и ничтожество, разделять с элитой ответственность за ее ошибочные решения? Наше недоумение по этому поводу объясняется тем, что для нас наука является центральным социальным институтом, обеспечивающим гарантированный рост возможностей по управлению жизнью. Наука стоит здесь наравне с ресурсами природы, т.е. составляет необходимое условие современного существования людей, поэтому сегодня можно по тем или иным причинам ликвидировать любые институты, но не науку.

Первая мировая война явилась никогда прежде не виданным публичным разоблачением несостоятельности сложившихся форм общественной жизни. Выглядевшие столь уверенно институты рациональности, моральной и эстетической регуляции не сработали, вместо ведущих к общему благу управленческих решений были совершены фатальные ошибки, мораль была уничтожена разгулом низких аффектов, реальные образы смерти и разрушения лишили цвета и формы созданные искусством образы тонких гармоний и диссонансов. XIX в. в своем интенсивном развитии был в целом временем большого оптимизма и даже удивления скорости, качеству и успеху социальных изменений. Эпизоды реакции и стагнации, неудачных революций и реформ с лихвой компенсировались эпизодами и сериями продвижения вперед. Общее умонастроение рубежа веков состоит в глубоком убеждении в достигнутой развитыми обществами эффективности институтов коллективной рациональности, моральности, эстетической регуляции, так что в моду вошла даже игра в усталость от всего названного, не мешавшая, впрочем, пользоваться благами прогресса. Европейское человечество никогда прежде не жило столь богато и не смотрело вперед столь оптимистично. Это определило и отношение к войне. Среди ее инициаторов страны – лидеры человечества, которые вели долгую и обстоятельную подготовку к столкновению, строили планы, согласно которым воевать предполагали недолго, умно и технологично, а завершить войну столь же умным переделом сфер влияния в третьем мире. Элиты полагали, что война между лидерами прогресса, коль скоро они видят ее целесооб-



разность, есть оправданный момент поступательного исторического развития, а широкие массы воюющих стран были вовлечены в коллективное переживание низких аффектов тщеславия, господства и эксплуатации, легитимирующих право сильного в отношении своих европейских противников и право господина в отношении колониальной периферии. Известно, что Первую мировую начинали практически при всеобщем согласии и воодушевлении, мало кто был против, мало кто говорил о бессмысленности, гибельности, тем более об аморальности предстоящего. Философ Людвиг Витгенштейн и его брат – пианист Пауль идут на войну добровольцами, как и слабый здоровьем поэт Николай Гумилёв. Испытывает военный энтузиазм Макс Вебер [Ростиславлева, 2014], пытается записаться добровольцем даже Вальтер Беньямин, правда, оправдываясь желанием попасть в армию в окружении друзей [Яу, 1999]. Чтобы остаться в стороне от эпидемии империализма, разоблачать и проклинать предстоящую войну, нужно было быть маргиналом. В числе таковых находим толстовцев, малые христианские группы, представителей подавленных империями этносов, откуда, например, происходит Ярослав Гашек, коммунистов, в числе которых Владимир Ленин, Карл Либкнехт и Роза Люксембург, а также немногочисленных убежденных пацифистов и скептиков, сомневающихся в успехах прогресса. Не удивительно, что провал всех планов и прогнозов и постигшие всех европейских участников Первой мировой бедствия вызвали огромное разочарование обществ, прежде всего в Германии, Австрии и России.

Речь Вебера «Наука как призвание и профессия» звучит в ситуации, в которой наука еще не имеет современного статуса важнейшего ресурса жизни, но в первую очередь применительно к социально-гуманитарным дисциплинам, ассоциируется с дискредитировавшими себя старыми элитами, общественным порядком, его идеологией и методами контроля. Вебер задним числом заявляет требование отделить политические повестку и пристрастия от научного исследования и преподавания, вопреки тому, что это отменяет оба немецких университетских проекта XIX в. Без политической программы немислим ни сентименталистский университет Халле, готовящий просвещенных и компетентных чиновников, способных работать на общее благо, ни романтический гумбольдтовский университет, задача которого – формирование гуманистической элиты, способной усматривать «высшие» цели общественного развития [Рингер, 2008, с. 26–33]. «Фактические связи» вещей [Вебер, 1990, с. 731] выявлялись и становились предметом науки и образования именно в этом контексте, что составляет специфику социально-гуманитарного знания. Здесь деполитизацию можно, конечно, имитировать, если не высказывать идеологические оценки прямо, но их никак нельзя скрыть на уровне мотива исследования, системы дифференциации явлений



и объектов, выстраивания нарратива и аргументации, подбора источников и материалов, наконец, в интерпретации явлений², все это определяется социальными практиками и дискурсами, за всем тут стоит личный живой интерес.

Вебер, на мой взгляд, требует невозможного, поскольку его речь есть апология науки, в которой мотив исследования и перспективы приложения знания противопоставляются методу исследования и его теоретическому содержанию. Наука как метод и теория, которые способны позволить нам «технически овладеть жизнью» [Вебер, 1990, с. 720]³, создать «методы и навыки работы мышления» и, наконец, «приобрести ясность» [Там же, с. 729], как «связь последних установок с их следствиями» [Там же, с. 729–730], должна быть отделена от вопросов о том, что есть счастье и зачем нам технически овладеть жизнью, каковы критерии надежных методов и навыков мышления и какие из «последних установок» верны. Ответ здесь дается ответственным индивидуальным выбором, и это означает выполнить долг «интеллектуальной добросовестности» [Там же, с. 734]. Содержание этого ответа определяется, согласно Веберу, факторами, в равной мере случайными и фатальными: «нужно обратиться к своей работе и соответствовать “требованию дня” – как человечески, так и профессионально. Но это требование станет простым и ясным, если каждый найдет демона, который ткет нить его жизни и будет ему послушен» [Там же, с. 735]⁴.

Демоны, критика и как оно есть «на самом деле»

Что значит эта ссылка на то ли сократовских демонов, то ли парок, ткущих нить жизни, послушание которым приводит меня к выбору философских установок, определяющих жизненную цель, в перспективе которой я буду стремиться к знанию, сформирую мои научные интересы, определяю методы и примусь за работу? Интеллектуальная добросовестность означает лишь ясное осознание названного ряда обстоятельств, она вносит условность во все, включая результат, т.е., чем бы ни закончилось исследование, я должен отдавать себе отчет в его зависимости от моих «последних установок», а их выбор диктуется мне требованием адекватности моменту и голосом «демона». Мы вполне можем согласиться с порядком очерченных

² Здесь я, конечно, расширяю отношения между идеологией и наукой, следуя Мишелю Фуко [Фуко, 2004, с. 341].

³ Это выражение повторяется в речи Вебера несколько раз.

⁴ Перевод слегка изменен.



здесь взаимосвязей и сказать, что так закладывается связь науки с ее особой этикой, но что тогда остается от научной работы как призвания, если даже «демоны» Вебера не устают напоминать своим подопечным о том, что они суть божества не универсальные, а личные и могут поэтому, заблуждаться? Можно ли в столь непростом и неблагодарном деле, как наука, работать под девизом «Совершай экзистенциальный выбор конечной цели, помни о его условности и – будь, что будет!», если ответ на мои исследования дают, говоря словами Бруно Латура, сами вещи [Латур, 2017, с. 157].

Вебер рассуждает исходя из внутренней критической установки и повторяет, что оценочные суждения не могут иметь научной значимости. Его критика вызвана необходимостью выводить науку из-под внешних ударов, и это лишний раз показывает сущностную принадлежность социально-гуманитарного знания к сфере политического. Поэтому Вебер ничего не говорит о силе, движущей ученым, после того как им сделан выбор в пользу интеллектуальной добросовестности и определены «последние основания». Насколько они разнообразны? Каждый ученый-гуманитарий волен обзавестись собственным демоном, у естествоиспытателей конкретной эпохи демон один на всех, а у математиков один на все времена – бог Лейбница, или чистый разум. Если смотреть на вещи с позиций последнего, то любое истинное знание находится вне экзистенциальных вопросов и представляет собой инструмент «овладения жизнью» путем создания науки, позволяющей видеть вещи так, как их видит божественный разум. Такой наукой можно пользоваться безо всяких предпосылок, и, приняв личных демонов, мы вынуждены будем объяснять, почему все они одинаково ратуют за теорему Пифагора. Однако, уже столкнувшись с естествознанием, нельзя будет не заметить контекстную зависимость верификации знания и основанной на нем практики. Где-то рядом с политически ангажированным представителем социально-гуманитарной науки работают, например, биологи и математики, находящиеся в своих изысканиях вне прямого влияния идеологий и политических интересов, а потому уверенные в том, что им открываются истины, не определяемые конкретной жизненной и социокультурной ситуацией. Мы помним, что исторически идеалом знания является наука, порождающая платоновское аподиктически истинное знание, и от такой науки веберовский гуманитарий находится в наибольшем удалении. Приводит ли это его к скромности и умеренности притязаний на истину, которые должны проявиться и в отказе от оценочных суждений? Ничуть ни бывало! Хотя социогуманитарное знание давно уже прояснило само для себя свою условность, мы легко забываем о веберовской «интеллектуальной добросовестности» и заявляем притязания на истину, как если бы были уверены в высокой степени ее



доступности и как если бы наука могла открывать, как обстоят дела «на самом деле»⁵.

Происходит это в силу институциональности науки. Продуцируя в некоторых своих отраслях достоверные знания, наука придает гуманитарии высокий статус, позволяющий предлагать профанам принять некоторую картину мира, идеологию и систему мотивации, в частности такую, для которой истина есть и может быть обретена в любой области познания, если правильно поставить вопросы и применить метод. В центре этой картины мира находится абсолютный свидетель, например божественный разум. Его существование придает выражению «на самом деле» простой и ясный смысл, а его отсутствие делает их метафорой, просто указывающей на место абсолютного свидетеля. Переход от исполненного скепсиса и скромности предположения о том, что истина не может быть обретена, к притязанию на нее как мотиву исследования осуществляется благодаря силе аффекта, который составляет ядро призвания к науке.

Аффект призвания

Речь Вебера «Политика как призвание и профессия» прозвучала годом позже речи о науке. Как можно было бы продолжить серию из этих двух речей, что могло бы последовать за наукой и политикой в антитезе призвания и профессиональной деятельности, подчеркнутой Вебером именно в речи о политике? Военная служба, деятельность священнослужителя, работа судьи, прокурора, адвоката, педагога, врача, полицейского, пожарного, художника, архитектора? Кажутся менее подходящими для призвания роли предпринимателя, купца, банкира, инженера, конторского служащего, рабочего, ремесленника, крестьянина, прислуги, мусорщика. Оба ряда можно продолжить. Очевидно, что в каких-то видах деятельности говорить о призвании нельзя, другие допускают лишь некоторую степень призванности, третьи, напротив, возможны лишь по призванию.

К последним относится функция политика, когда он выступает в качестве представителя группы, общества в целом или же нечеловеческих субъектов – природы, будущих и прошлых поколений, исторической памяти и памятников, судьбы, морального закона, наконец,

⁵ Гуссерль в докладе «Кризис европейского человечества и философия» (1935) настаивает как раз на отделении научной установки и деятельности, предполагающих «объективизм» и «натурализм», от философствования как работы по определению задач самой науки в контексте цели, сущности и смысла человечества, которые обнаруживаются не исследованием, а становятся результатом выбора [Гуссерль, 1986, с. 115–116]. Эта концепция представляет собой преодоление веберовской.



истины. Представительство неизбежно не только в политической, но и в любой другой сфере, в которой присутствует публичная делиберация, постоянное участие в которой всех и каждого и невозможно, и нецелесообразно. Представительство имеет экономическую и аффективную основы. В первом случае специалист представляет те или иные интересы в рамках институтов и на условиях, зафиксированных в формальном договоре с представляемыми. Во втором случае между ними действует аффективный контракт [Микиртумов 2022], который требует от представляемых оказания доверия представителю, а от представителя – служения. И первое, и второе предполагает долг и приводится в действие наборами аффектов. Именно в аффективной сфере получает свое вознаграждение представитель. Оно состоит в переживании возвышающих состояний идентификации с представляемым, в «умножении» своей личности посредством предоставления голосам «других» возможности через нее звучать, в наделении слов, произносимых этими голосами, смыслом и в определении своей воли как воли многих. За аффектами представительского служения стоит стремление создать из представляемого инстанцию, которая дала бы представителю признание и попала бы под его власть. Аскетическое или совестливое выполнение некоего долга перед представляемыми, а эти мотивы присутствуют у Вебера [Schluchter, 1995], – это идеологический конструкт самих представляемых⁶. Долг существует именно в их перспективе, поскольку любое сообщество считает само собой очевидным обязательное служение индивида коллективному интересу, вне зависимости от степени оказываемого ему доверия. Высокая степень последнего реализует господство на основе того или иного вида легитимации, низкая же степень ставит индивида под контроль группы. Иными словами, представитель принимает на себя долг как условие аффективного контракта, хотя его подлинной целью является инверсия долга, а представляемые тем больше этому способствуют, чем больше представителю доверяют.

Аффективная природа отношений между представителем, т.е. политиком по призванию, и представляемыми кажется мне несомненной. Эти отношения не могут фиксироваться ни формальными актами, ни нравственным законом, поскольку интенсивность служения

⁶ Как известно, Роберт Мертон, по стопам Вебера, связал протестантский аскетизм с прогрессом математизированного естествознания [Gilje, 2003]. Здесь нет возможности останавливаться на этом вопросе, но мне кажутся более убедительными аргументы в пользу решающего значения для возникновения этих дисциплин натурфилософского платонизма, герметической магии и каббалистических упражнений Ренессанса, см., например: [Smitt, 1978; Yates, 1967]. Так или иначе, но это не влияет на трактовку представительства ученого и долг истины, которым он наделается.



и доверия изменчива, способы их проявления заранее не известны, а реализация политических отношений происходит в системе институтов, работающих как раз формально. Нарушение условий аффективного контракта возникает в случае рассогласования, например, когда служение оказалось менее интенсивным, нежели предполагалось, т.е. когда представитель в некоторой ситуации не пожертвовал личными интересами, хотя это предполагалось, или доверие оказалось неадекватно ожиданиям представителя, например, когда риторические маневры политика воспринимаются группой как руководство к действию, а прямые призывы к действию – как риторические маневры. Реализация представительства иногда так интенсифицируется, что рационально-легальный лидер превращается в харизматика вопреки собственной воле, или же, наоборот, так ослабевает, что харизматический лидер превращается в чиновника.

Я думаю, что отношения науки, ученого и общества выстроены примерно так же, как и отношения политика – представителя и группы, а именно общество в целом проявляет волю к знанию, которая задает философско-онтологическую сетку объектов, концептов и фактов мира и которая в исторических дискурсах мудрости, учености, натурфилософской магии и науки принимает вид воли к истине. «Воля к знанию» и «воля к истине» – это термины Мишеля Фуко, и последний трактуется как важнейшая «процедура исключения», фильтрации дискурсов, в которой уже присутствуют «желание и власть» и которая кажется поэтому свободной от того и другого [Фуко, 1996, с. 58–59]. Воля к истине как структура отношений переходит из эпохи в эпоху, меняется лишь содержание того, что принимается и исключается как истинное и ложное, а также основания такого принятия и исключения. И точно так же воля к знанию определяет философско-онтологическую сферу развертывания политического, где в исторических ситуациях группы являют волю к частному и общему благу, понимая первое и второе каждый раз по-новому. Реализация такой воли и образует задачу представителя – политика по призванию, но частное благо группы всегда подается как общее. Фуко видит в воле к истине практику ограничения, «приземляющую» и сковывающую свободное движение дискурсов. Аналогия с волей к благу позволяет увидеть, что и последняя обладает теми же качествами, но в отношении всех без исключения явлений культуры, включая и науку. Разная ценность истинного и ложного аналогична разной ценности благого и бесполезного (вредного), поскольку истинное и благое дают основания для определенных решений и действий по «овладению жизнью» и по «практике жизни», а ложное и бесполезное их не дают. Вопрос здесь не в ошибках, не в том, что мы можем спутать истину и ложь, благое и бесполезное, но в том, что разница между ними известна как формальный принцип, равно как и их связь с решением и действием. И, хотя истина сразу понимается



как объективная, а всякое частное благо лишь пытается предстать общим, в обоих случаях создаются институциональные инструменты максимизации степени объективности и общности, имеющие вид способов коммуникации по научным и политическим вопросам, направленных на достижение консенсуса наиболее активных сил.

Можно ли сказать, что ученый – это тот, кто реализует волю к истине, будучи по своему призванию или профессиональным функциям представителем общества, группы, нечеловеческих субъектов? Предполагает ли и призванность к науке аффективный контракт с обществом, выполнение обязательств по которому может, например, предполагать жертву собой?

Ответы на оба вопроса кажутся мне положительными, хотя аффективный контракт ученого существенно отличается от контракта политика по призванию, так что представительство и жертвенность имеют, как правило, совершенно иной характер. Я вижу здесь четыре отличия.

Во-первых, контракт ученого односторонний, т.е. аффектация ученого долгом истины может не предполагать аффектации общества доверием к науке, когда общество не в состоянии ни осознать, ни выразить своего интереса. Занятия наукой требуют преодоления высокого порога сложности, они трудоемки и неблагодарны, поэтому выбор науки как жизненного пути требует сильной мотивации. Складывается она из собственного интереса, из так называемого любопытства, пылливости, увлеченность материалом, из понимания высокой ценности знания и его потенциала, а также из ожидания признания. Если путь от начала исследования до перехода знания в благо пройден, можно быть уверенным в том, что силой ума и исследовательской находчивостью я превосхожу миллионы людей вокруг и вдобавок что они мною облагодетельствованы. Но вторая половина пути, т.е. использование знания для достижения блага, находится не под контролем ученого и науки, подобно тому, как писатель не контролирует чтение и понимание своих произведений публикой, для которой они написаны. И это – главный риск научной работы, за которую невозможно приняться, если обращать на него внимание. Общество, таким образом, не берет на себя никаких явных обязательств перед ученым, может не замечать его усилий и игнорировать то, как он представляет себе приложение добытого им знания.

Во-вторых, если все же сигнал о доверии приходит, он гораздо менее интенсивен, нежели соотнесенный с доверием долг истины, сообщается он не прямо и не явно, а через посредство институтов, зависит от самых разных привходящих обстоятельств. Достаточно назвать имена Галилео Галилея, Иоганна Кеплера, Исаака Ньютона, Георга Менделя, Антуана Лавуазье, Теодора Моммзена, Ивана Павлова, Михаила Бахтина, Николая Вавилова и Трофима Лысенко,



чтобы увидеть, какими разнообразными и сложными путями оказывается и отнимается доверие, приходит и уходит признание. Сегодня доверие к ученому и его признание также институционализированы, что не мешает соответствующим механизмам выдавать ошибки. Поэтому, если ученый осознаёт долг представительства в обретении истины, то не потому, что он внушен ему непосредственным взаимодействием с представляемыми и обеспечен гарантированным уровнем доверия и признания, что как раз характерно для политики. Этот долг возникает из некоторой исповедуемой им философии науки, которая говорит, что в его руках находятся инструменты открытия истины о мире, которую нужно добыть для достижения общего блага. Когда философия науки говорит этим языком, она обнаруживает свою дискурсивную принадлежность некоторой политической идеологии, т.е. видит представительство в перспективе не только истины, но и блага представляемых.

Во-третьих, научная повестка непонятна не только широким массам, но и непосредственным заказчикам знания в лице государства и бизнеса. Поэтому, когда наука достигает некоторого уровня сложности, коммуникация между ученым и потенциальным заказчиком превращается в особую языковую игру, в онтологии которой присутствуют перспективы блага от применения знания, варианты его расширения, необходимость скрывать знание от конкурентов, оценки материальных ресурсов для исследований и использования знания и много другое, чем истина обростаёт при своем превращении в информацию как ресурс, а ученый – при своем превращении в производителя этого ресурса. И в этой игре нет ничего про истину, ложь, ошибку, ее исправление, метод и пр., так что ложь, ошибочно воспринятая как истина, в этой коммуникации может пребывать в статусе знания до тех пор, пока в каком-то из аспектов применения знания не накопится достаточное количество негативных сигналов, которые нельзя будет игнорировать, и вместе с тем не появится знание, которое сможет стать альтернативой. Научные исследования и сопряженная с ними практика имеют сегодня столь разветвленный характер, что обнаружить ошибки, отделить истину от лжи и исчерпывающим образом верифицировать и корректировать знание получается не везде, не всегда и не сразу, и в каждый момент в качестве знания циркулирует едва ли не столько же ложного или сомнительного, сколько истинного. Для каждой отрасли знания и практики вырабатываются свои пороговые величины позитивного «ответа» со стороны вещей и неопределенности, общий же позитивный или негативный сигнал об эффективности науки формируется совокупной практикой, в которой, наряду с университетом, научными учреждениями, IT-индустрией, военной и прочей промышленностью, технологической медициной, телекоммуникациями и транспортом, действуют религиозные представления, политические идеологии,



потребительство, традиционный семейный и этнический уклады, предрассудки, мифы и оккультизм. Получить значимую обратную связь ученый, при всей полноте своего призвания, может лишь там, где его всегда очень конкретная и даже прикладная работа востребована влиятельными институтами общества или отвечает актуальным интересам групп, а во всех иных случаях ученый либо получает реакцию неадекватную, либо вообще никакой.

В-четвертых, именно отношения с обществом и государством, с одной стороны, профессионализируют работу в науке, делая призвание не необходимым, с другой же стороны – обеспечивают систематическую обратную связь и признание. В ситуации высокого спроса на научную информацию профессия ученого становится престижной и в науку устремляются честолюбцы, прежде интересовавшиеся лишь политикой и бизнесом. Место призвания занимают формально зафиксированные обязанности, правила, заказы, протоколы, планы и отчеты, с помощью которых научная деятельность и сама истина институционализируются и окончательно герметизируются, так что верификация извне невозможна, и принятие знания как истины основывается на общем доверии общества к институтам⁷. Любопытно, что, хотя призванность на фоне институционализации признания становится излишней, в контексте общего блага оно придает открытию истины ясное политическое значение и наделяет ученого призванием даже в том случае, когда с его стороны нет аффективного обязательства служения. Происходит это в силу того, что обществу хочется получать наиболее значимые для него блага в виде даров, а не покупать их в виде товаров. Это поднимает ценность общества, придает ему больше достоинства, одновременно подчеркивая несвободный характер производителя таких благ, его служение и долг.

Итак, складывается впечатление, что призвание ученого в конечном счете оказывается политическим и состоит в принятии им долга служения обществу и человечеству в деле открытия истины, и призвание это оформляется в виде одностороннего аффективного контракта. Почему же его политический характер не может придать этому контракту формальный характер? И почему ученый идет на его заключение?

⁷ Во время пандемии, вызванной вирусом COVID-19, можно было наблюдать чрезмерные надежды на науку вместе с разочарованием в ней, которые отражали слепое доверие и столь же слепое недоверие к институтам вообще. Социальный инфантилизм в равной мере проявляется в деполитизации общества и расцвете популизма как апелляции к низким аффектам, в утрате критичности по отношению к политической философии и идеологии, когда они начинают восприниматься как литература и игра словами, или же в нападках на медицину и санитарные меры властей. Выразителем этих настроений стал Джорджо Агамбен [2022].



Призвание к истине и истерия

Вспомним, что для эпох, в которых наука и предшествующие ей формы знания были маргинальным видом занятий, шансы на признание ученого оказывались ничтожными. К систематическим научным занятиям мог поэтому подвигать почти исключительно аффект, позволявший концентрировать громадную психическую энергию и получавший разрешение сначала во внутренней уверенности в обретении истины, свидетельствующей об интеллектуальной и исследовательской силе ученого, затем в отношении к некоторой абсолютной инстанции, которое могло эту уверенность онтологизировать, и, уже в последнюю очередь, в признании другими людям. Подчеркну, что речь здесь идет именно о призвании. С возрастом роли науки и ее институционализацией абсолютная инстанция, как кажется, теряется из виду, а роль признания со стороны общества возрастает.

Но все не так просто. Абсолютная инстанция, носитель и свидетель истины и того, что имеет место «на самом деле», никуда не уходит, она перемещается в некогнитивную сферу и становится ядром аффекта призвания, не будучи в этом качестве осознаваема. В описанной организации сил, установок и ожиданий я вижу черты истерии, как ее описывает Жак Лакан [2008]. Сразу оговорюсь, что я не уверен в том, что описанное у него есть истерия или что она вообще есть, – этот вопрос оставлю в стороне, просто соображения и наблюдения Лакана, прочитанные как феноменология некогнитивных состояний, как мне кажется, удачно воспроизводят характеристики аффекта ученого, переживающего свою призванность к открытию истины⁸.

В его центре находится стремление внушить группе, обществу или человечеству высокую ценность ученого, по меньшей мере там, где создается знание, позволяющее «овладеть жизнью», хотя бы сфера исследования и была для общества совершенно закрыта и не было бы никакой возможности донести до него ее важность⁹. В этом смысле ученый всегда стучался в глухую стену и лишь начиная с середины XVII в. – в дверь, которая постепенно переставала быть совершенно закрытой. При этом ученый претендует на то, что наука должна стать и основой мировоззрения, оттесняя все

⁸ Использование термина «истерия» применительно к социокультурным явлениям и формам нормального поведения человека стало стертой метафорой с момента исключения термина из медицинского словаря, см.: [Edwards, 2009].

⁹ Ср.: [Лакан, 2008, с. 38]. Здесь и далее я не цитирую Лакана, но сопоставляю свое описание аффекта ученого с тем, какие характеристики он дает истерии в связи со знанием. Последнее понимается Лаканом специфическим образом, что в нашем случае несущественно.



иные культурные доминанты. Интеллектуальная добросовестность и честность распространяются на все и всех, невозможно быть ученым по призванию и считать какие-либо альтернативные формы знания равноценными науке. Онтология здесь даже не иерархична, она полярна и знает на одной стороне истину и науку, а на другой – ложь со всеми прочими формами знания.

Уже сама проповедь научности, несомненно, невротизирует и истеризирует общество, которое встает перед выбором между слепым доверием науке и слепым же следованием сложившимся практикам¹⁰, не имея для этого выбора понятных оснований. На стороне ученого и науки остается связь «знания» и «истины» с «наслаждением» [Лакан, 2008, с. 40, 82–83]. Ее можно интерпретировать так. Коль скоро наслаждение, в отличие от удовольствия, требует формирования и культивирования соответствующего аффекта, тренировки в его переживании, наслаждение от познания и знания в науке, во-первых, в силу безграничного горизонта научных задач, неисчерпаемо, во-вторых, выделяет науку как замкнутую дискурсивную среду, в которой ученый, даже не будучи надлежащим образом признан, остается сам себе хозяином¹¹, т.е. может обеспечить постоянное возобновление погони за истиной. Еще один важный аспект – это слепота, невежество других, которые делают истину редкой и ценной, а ученому обещают признание за ее открытие. Выше я уже говорил о том, что интерес «для себя» и пресловутое «любопытство» являются не более, чем отговорками, за которыми скрывается стремление к признанию как ступеньки для властвования¹². Наконец, движимый признанием ученый убедителен в том, что следует долгу вопреки очевидным рискам и издержкам, как если бы этот долг предписывался ему абсолютной инстанцией, хранящей истину. В этом случае ученый, указывающий на постижимые законы природы, на истину, которая есть то, что имеет место «на самом деле», превращает их в симптом своего состояния¹³ и тем самым свидетельствует о них своим состоянием. Такими же симптомами можно считать самоотверженную деятельность политика по призванию, а также страстные стихийные общественные движения, захватывающие миллионы людей. Здесь везде признаком истерического становится знаковость действий, призванных указать на скрытое зло, в частности на незнание и одновременно на возможность блага, в частности истины. Истерия может тогда прочитываться как «странное и невозможное отношение к себе» [Gildersleeve, 2016]. В нем присутствует желание «господина», которым можно было бы «править» и который призна-

¹⁰ Ср.: Лакан, 2008. С. 38.

¹¹ Ср.: Там же. С. 60–61.

¹² Ср.: Там же. С. 43.

¹³ Ср.: Там же. С. 50.



вал бы истерика своей «верховой наградой» [Лакан, 2008, с. 163], т.е. спасителем и вожатым. И сама роль такого господина, в нашем случае – общества, человечества или нечеловеческого субъекта, возможно, создана вместе с ролью их представителя в деле истины¹⁴ еще тогда, когда никакой науки нет, но когда впервые стало понятно, что возможны истина и знание и что доступ к ним доступен мне и недоступен другим и потому может стать для меня путем к признанию и власти.

Иными словами, в логико-методологическом аспекте истина всегда неполна и чаще всего относительна, т.е. в онтологическом отношении она предполагает абсолютную инстанцию, гарантирующую, что нечто имеет место «на самом деле», а в социокультурном – требует, чтобы один стремился обрести ее в перспективе блага для многих и признания для себя. Сочетание этих обстоятельств образует условия формирования и действия аффекта, движущего ученым. Этот аффект, видимо, характерен для любой призванности, будь в ее фокусе политика, наука, искусство, отправление правосудия, педагогика и пр. Но везде по-разному складываются служение и долг, поскольку претерпевающая сторона может не быть включенной в предлагаемые отношения, не знать о них ничего или даже не иметь субъектности. Последним коррелятом служения и долга является, конечно, трансцендентный свидетель истины и блага, т.е. бог, отсутствие которого ничего не меняет в структуре переживания аффекта, поскольку важно само наличие его места¹⁵. Специфика положения ученого состоит в том, что альтернатива между призванием и профессией возникла в науке совсем недавно, а именно в конце XIX в., но не в том смысле, в каком об этом говорит в своей речи Вебер. Стремительный рост знаний, позволяющих «овладевать жизнью», отодвинул на задний план элитарные ученость и образованность, т.е. то, чем университет торговал столетиями, не беспокоясь об истине.

Заключение

Первый и единственный экзистенциальный выбор в науке – это выбор между преследованием истины, знание которой позволяет «овладевать жизнью», и практиками учености и образования, которые по отношению к истине нейтральны, но обеспечивают воспроизводство культуры в целом, а потому политизированы. Призыв Вебера

¹⁴ Ср.: Лакан, 2008. С. 162.

¹⁵ Надежда Касавина говорит в этой связи об «утраченном трансцендентном основании культуры» [Касавина, 2020, с. 283].



разделить науку и политику нереализуем там, где функция университета состоит в обеспечении устойчивости культуры, и не имеет смысла там, где идет речь об истине, сам же он, как неоднократно было замечено, произносит свою речь и с позиции ученого, и с позиции лидера, определяющего политические и моральные ориентиры [Shapin, 2019, p. 301–303]. Социально-гуманитарное знание было, есть и будет политическим по своей интенции, тогда как точные и естественные науки имеют дело с коррелятом, мыслимым в перспективе абсолюта. В первом случае профессия исчерпывает научную деятельность, а призвание, если оно в ней присутствует, является политическим, во втором, напротив, призвание касается истины как таковой. Как я попытался показать выше, испытываемый при этом аффект по своей структуре воспроизводит истерию, т.е. имеет своей задачей показать, что истина имеет место, и заставить сообщество признать этот факт и покориться науке и ученому. Это позволяет нам увидеть на месте абсолюта других людей, служение которым содержит в себе жажду инверсии этого служения, т.е. перехода к власти через признание. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что никакие исследования, способные дать новые средства «овладения жизнью», никогда не будут ограничены или свернуты по воле ученых, с какими бы опасностями они ни были связаны. Еще менее к этому склонны лидеры конкурирующих наций, определяющие политический выбор. Выбор между преследованием истины и работой в пользу устойчивости культуры и общества к этому моменту давно уже сделан, и немногие дезертиры с фронта «овладения жизнью», отказывающиеся от ранее сделанного выбора, не отменяют этого правила. То, что жизнью до сих пор не «овладели» окончательно и бесповоротно, связано с тем, что это едва ли возможно. Мир как объект исследования бесконечен и местами нечеловекообразен, да и доступные истины выпытать у него нелегко. Помогает и изрядная институционализация науки, благодаря которой носителей призвания теснят карьеристы – профессионалы. Мне кажется, что теперь можно лучше понять определение, которое Илья Касавин дает призванию [Касавин, 2020, с. 274]: в «когнитивно-экзистенциальной настроенности» на поиск истины доминирует аффект, двигателем которого является аффект, сходный с истерией, и в фундирующих установках которого представление о полярной онтологии истины и «иного» спаяно с иерархической антропологией ученого и профана.



Список литературы

- Агамбен, 2022 – *Агамбен Д.* Куда мы пришли? Эпидемия как политика / Пер. с ит. В. Данилова. М.: Ноократия, 2022. 144 с.
- Вебер, 1990 – *Вебер М.* Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова // *Избранные произведения.* М.: Прогресс, 1990. С. 707–735.
- Вебер, 2020 – *Вебер М.* Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова. М.: РИПОЛ классик, 2020. 292 с.
- Гуссерль 1986 – *Гуссерль Э.* Кризис европейского человечества и философия / Пер. с нем. А.М. Руткевича // *Вопросы философии.* 1986. № 3. С. 101–116.
- Касавин, 2020 – *Касавин И.Т.* Наука – гуманистический проект. М.: Весь Мир, 2020.
- Касавин, Порус, 2023 – *Касавин И.Т., Порус В.Н.* Философия науки: экзистенциальный поворот // *Эпистемология и философия науки.* 2023. Т. 60. № 4. С. 7–21.
- Касавина, 2020 – *Касавина Н.А.* Научное призвание как экзистенциальный выбор // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.* 2020. № 55. С. 279–285.
- Лакан, 2008 – *Лакан Ж.* Изнанка психоанализа. Семинар, Книга XVII (1969–70) / Пер. с фр. А.К. Черноглазова. М.: Гнозис, 2008. 272 с.
- Латур, 2017 – *Латур Б.* Дэвиду Блуру... и не только: ответ на «Анти-Латур» Дэвида Блура // *Логос.* 2017. Т. 27. № 1. С. 135–162.
- Микиртумов, 2022 – *Микиртумов И.Б.* Моральные обязательства представителя группы в делиберации о повестке // *Логико-философские штудии.* 2022. Т. 20. № 4. С. 429–446.
- Ростиславлева, 2014 – *Ростиславлева Н.В.* Макс Вебер в годы Первой мировой войны // *Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология.* 2014. № 13 (135). С. 136–145.
- Фуко, 2004 – *Фуко М.* Археология знания / Пер. с фр. М.Б. Раковой и А.Ю. Серебрянниковой. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»: Университетская книга, 2004. 416 с.
- Фуко, 1996 – *Фуко М.* Порядок дискурса / Пер. с фр. С. Табачниковой // *Вопросы к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет.* М.: Касталь, 1996. С. 47–96.

References

- Agamben, D. “Kuda my prishli? *Epidemiya kak politika*” [Where Have We come? Epidemic as Politics], trans. by V. Danilova. Moscow, 2022. (Trans. into Russian)
- Edwards, 2009 – Edwards, M. “Hysteria”, *Lancet*, 2009, vol. 374, iss. 9702, p. 1669.
- Foucault, M. “*Arheologiya znaniya*” [Archeology of Knowledge], trans. by M.B. Rakova and A.Y. Serebryannikova. St. Petersburg, 2004. (Trans. into Russian)



Foucault, M. “Poryadok diskursa” [Discourse order], trans. by S. Tabachnikova, in *Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznyh let* [The Will to Truth: Beyond Knowledge, Power and Sexuality. Works from Different Years]. Moscow, 1996, pp. 47–96. (Trans. into Russian)

Gildersleeve, 2016 – Gildersleeve, M. “Method in the Madness: Hysteria and the Will to Power”, *Social Sciences*, 2016, vol. 5 (3), 29.

Gilje, 2003 – Gilje, N. “Die Weber-Merton-Hypothese: Protestantismus und der Durchbruch der modernen Naturwissenschaft”, *Theorien und Methoden in den Sozialwissenschaften*. Hrsg. S.U. Larsen, E. Zimmermann. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2003. S. 27–42.

Husserl, E. “Krizis evropejskogo chelovechestva i filosofiya” [The crisis of European humanity and philosophy], trans. by A.M. Rutkevich, *Voprosy filosofii*, 1986, no. 3, pp. 101–116. (Trans. into Russian)

Jay, 1999–2000 – Jay, M. “Walter Benjamin, Remembrance, and the First World War”, *Review of Japanese Culture and Society*, 1999–2000, vol. 11/12, pp. 18–31.

Kasavin, I.T. *Nauka – gumanisticheskij proekt* [Science is a Humanistic Project]. Moscow: Ves' Mir, 2020. (In Russian)

Kasavin, I.T., Porus, V.N. “Filosofiya nauki: ekzistencial'nyj povorot” [Philosophy of Science: An Existential Turn], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, vol. 60, no. 4, pp. 7–21. (In Russian)

Kasavina, N.A. “Nauchnoe prizvanie kak ekzistencial'nyj vybor” [Scientific vocation as an existential choice], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science*, 2020, no. 55, pp. 279–285. (In Russian)

Lacan, J. “Iznanka psikoanaliza”. *Seminar, Kniga XVII (1969–70)* [The Wrong Side of Psychoanalysis. Seminar, Book XVIII (1969–70)], trans. by A.K. Chernoglazov. Moscow: Gnozis, 2008. (In Russian)

Latour, B. “Devidu Bluru... i ne tol'ko: otvet na ‘Anti-Latur’ Devida Blura” [To David Bloor... and more: a response to David Bloor’s “Anti-Latour”], *Logos*, 2017, vol. 27, no. 1, pp. 135–162. (In Russian)

Mikirtumov, I.B. “Moral'nye obyazatel'stva predstavatelya gruppy v deliberacii o povestke” [Moral Obligations of a Group Representative in Deliberating an Agenda], *Logiko-filosofskie shtudii – Logical and Philosophical Studies*, 2022, vol. 20, no. 4, pp. 429–446. (In Russian)

Rostislavleva, N.V. “Maks Veber v gody Pervoj mirovoj vojny” [Max Weber during the First World War], *Vestnik RGGU. Seriya: Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul'turologiya – Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series: Literary Studies. Linguistics. Cultural Studies*, 2014, no. 13 (135), pp. 136–145. (In Russian)

Schluchter, 1995 – Schluchter, W. “Handeln und Entsagen. Max Weber über Wissenschaft und Politik als Beruf”, in: *Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie der “geistigen Geselligkeit” eines “Weltdorfes”: 1850–1950*. Hrsg. H. Treiber, K. Sauerland. Wiesbaden, 1995. S. 264–307.

Schmitt, 1978 – Schmitt, C.B. “Hermeticism and the Scientific Revolution”, *History of Science*, 1978, vol. 16, no. 3, pp. 200–214.

Shapin, 2019 – Shapin, S. “Weber’s Science as a Vocation: A Moment in the History of “Is” and “Ought””, *Journal of Classical Sociology*, 2019, vol. 19, pp. 290–307.



Weber, M. “Nauka kak prizvanie i professiya” [Wissenschaft als Beruf], trans. by A.F. Filippov, in: *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Papers]. Moscow, 1990, pp. 707–735. (Trans. into Russian)

Weber, M. “Politika kak prizvanie i professiya” [Politik als Beruf], trans. by A.F. Filippov. Moscow, 2020. (Trans. into Russian)

Yates, 1967 – Yates, F.A. “The Hermetic Tradition in Renaissance Science”, in: Ch.S. Singleton (ed.) *Art, Science, and History in the Renaissance*. Baltimore, London, 1967, pp. 255–274.